



Вячеслав
Шишков

УГРЮМ-
РЕКА

Том I

МИО

Вечные истории (МИФ)

Вячеслав Шишков

Угрюм-река. Том I

«Манн, Иванов и Фербер (МИФ)»

1928-1933

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Шишков В. Я.

Угрюм-река. Том I / В. Я. Шишков — «Манн, Иванов и Фербер (МИФ)», 1928-1933 — (Вечные истории (МИФ))

ISBN 978-5-00-214707-6

Роман Вячеслава Шикова начал публиковаться в 1928 году по частям и вскоре стал одной из самых масштабных семейных саг о человеческой жадности. Он вырос из реальных биографий сибирских купцов и рассказов Николая Матонина – потомка богатейших золотопромышленников. Сам писатель прошел тайгу в десятках экспедиций – от Оби до Нижней Тунгуски – и описал ее без прикрас. После обретения неожиданного богатства жизнь Громовых кардинально меняется. Пока отец устраивает пиры и ухаживает за роковой красавицей Анфисой, его сын Прохор отправляется в сибирскую тайгу – испытать себя и изучить новые торговые пути. Он полон амбиций, но вокруг него много соблазнов. Сумеет ли он побороть их, чтобы построить жизнь мечты?

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-00-214707-6

© Шишков В. Я., 1928-1933
© Манн, Иванов и Фербер
(МИФ), 1928-1933

Содержание

Часть первая	7
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Вячеслав Шишков

Угрюм-река. Том I

Книга не пропагандирует употребление алкоголя, табака, наркотических или любых других запрещенных средств.

Согласно закону РФ приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, а также культивирование психотропных растений являются уголовным преступлением.

Употребление алкоголя, табака, наркотических или любых других запрещенных веществ вредит вашему здоровью.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Печатается по изданию: Шишков В. Я. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 4. Угрюм-река. Том первый. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1961. 529 с.

© Оформление. ООО «МИФ», 2026

* * *



Уж ты, матушка Угрюм-река,

Государья, мать свирепая.

Из старинной песни

Часть первая



1

На сполье, где город упирался в перелесок, стоял покосившийся одноэтажный дом. На крыше вывеска:

СТОЙ. ЦРУЛНА. СТРЫЖОМ. БРЭИМ. ПЕРВЫ ЗОРТ

Хозяин этой цирюльни, горец Ибрагим-Оглы, целыми днями лежал на боку или где-нибудь шлялся, и только лишь вечером в его мастерскую заглядывал разный люд.

Кроме искусства ловко стричь и брить, Ибрагим-Оглы известен пьющему люду городских окраин как человек, у которого в любое время найдешь запас водки. Вечером у Ибрагима клуб: пропившиеся двадцатники, – так звали здесь чиновников, – мастеровщина-матушка, какое-нибудь забулдыжное лицо духовного звания, старьевщики, карманники, цыгане; да мало ли какого народу находило отраду под гостеприимным кровом Ибрагима-Оглы. А за последнее время стали захаживать к нему кое-кто из учащихся. Отнюдь не дешевизна водки прельщала их, а любопытный облик хозяина, этого разбойника, каторжника. Пушкин, Лермонтов, Толстой – впечатления свежи, яркие, сказочные горцы бегут со страниц и манят юные мечты в романтическую даль, в ущелья, под чинары. Ну как тут не зайти к Ибрагиму-Оглы? Ведь это ж сам таинственный дьявол с Кавказских гор. В плечах широк, в талии тонок, и алый бешмет, как пламя. А глаза, а хохлатые черные брови: взглянет построже – убьет. Вот черт!

Но посмотрите на его улыбку, какой он добрый, этот Ибрагим. Ухмыльнется, тряхнет плечами, ударит ладонь в ладонь: «Алля-алля-гей!» – да как бросится под музыку лезгинку танцевать. Вот тогда вы полюбуитесь Ибрагимом...

Заглядывал сюда с товарищами и Прохор Громов.

Оркестр давно закончил последний марш, трубы остыли, и турецкий барабан пьет теперь в трактире сиводрал. Сад быстро стал пустеть. Дремучий, вековой, огромный: нередко в его труппах даже среди бела дня бывали кровавые убийства. Скорее по домам: мрачнел осенний, поздний вечер.

Прохор Громов, ученик гимназии, сдвинул на затылок фуражку и тоже направился к выходу.

Вдали гудел отчаянный многоголосый крик, словно гряла на отлете стая грачей. Прохор Громов остановился:

«Драка», – и он припустился на голоса прямиком, через клумбы цветов и мочежины.
– Бей!

Он треснул по голове бежавшего ему навстречу мальчика. Опытным глазом забияки он быстро окинул поле битвы: на площадке, где обычно играла музыка, шел горячий бой между «семинарами» и «гимназерами». К той и другой стороне приставали мещане, хулиганы, всякий сброд.

- Ура! Ура!
- Гони кутью в болото!
- Ребята!.. Наших бьют!..

Прохор Громов выхватил перочинный нож и марш-марш за удиравшими. В нем все играло диким озорством, захватывало дух. Рядом с ним неслись кулачники, где-то пересвистывались полицейские, трещали трещотки караульных, лаяли псы.

- Полиция! – И все врассыпную. – Лезь по деревьям!..

Но буйный нож Прохора, наметив жертву, уже не мог остановиться. Прохор на бегу полоснул парня ножом. И сразу отрезвел.

- Полиция!.. – с гамом мелькали возле него пролетающие тени. – Айда наутек!

Прохор Громов вскочил на решетку и, разодрав об железо шинель, перепрыгнул.

– Ага! Есть! С ножом, дьяволенок! – сгреб его в охапку полицейский, но он, как налим, выскользнул из рук и – стремглав вдоль улиц.

- Жулик! Имай! Держи!

Но Прохор юркнул в темный проулок, притаился. Закурил. На правой руке кровь.

«А где ж картуз?» – И сердце его сжалось. Новая его фуражка с четкою надписью на козырьке «Прохор Громов», очевидно, попала в руки полицейских. Прохор перестал дышать. Он уже слышит грозный окрик директора гимназии, видит умирающего парня, полицию, тюрьму. «Боже мой! Что ж делать?..»

- К Ибрагиму!

Да, к Ибрагиму-Оглы. Он спасет, он выручит. Ибрагим все может. И Прохор, вздохнув, повеселел.

Он отворил дверь и задержался у порога. В комнате человек пять его товарищей, гимназистов. Ибрагим правил бритву, что-то врал веселое: гимназисты хохотали.

Прохор поманил Ибрагима, вместе с ним вышел в соседнюю комнату, притворил дверь. Чуть не плача, стал рассказывать. Он ходил взад-вперед, губы его прыгали, руки скручивали и раскручивали кончик ремня. У Ибрагима черные глаза загорались.

- Я за ним... Он от меня... Я выхватил нож...

- Маладэц! Далшэ...

- Я его вгорячах ножом... – упавшим голосом сказал Прохор.

- Цх! Зарэзал?.. – радостно вскричал черкес.

- Нет, ранил...

- Дурак!

- Я его тихонько... перочинным ножичком, маленьким, – оправдывался Прохор.

– Дурак! Кынжал надо... Вот, на!.. – Горец сорвал со стены в богатой оправе кинжал и подал Прохору. – Подарка!

– Да что ты, Ибрагим... – сквозь слезы проговорил Прохор. – Меня исключат... Ты посоветуй... как быть?.. – Он опустил на табурет, сгорбился. – Главное, фуражка... По фуражке узнают...

– Плевать! Товарища-кунака¹ защищал, себя защищал. Рэзать нада! Трусить нэ нада... Джигит будэш!..

На громкий его голос один за другим входили гимназисты.

– Ружье тьфу! Кынжал – самый друг, самый кунак!.. – крутил горец сверкающим кинжалом. – Ночью Капказ едем свой сакля. Лес, луна, горы... Вижу – бэлый чалвэк на дороге. Крычу – стоит, еще крычу – стоит, третий раз – стоит... Снимаим винтовка, стрэляим –

¹ То есть друга, приятеля. Здесь и далее прим. ред.

стоит... Схватил кинжал в зубы, палзем... подпалзаим... Размахнулся – раз! – Глядим – бабья рубаха на веревке. Цх!

Все засмеялись, но Прохор лишь печально улыбнулся и вздохнул. Ибрагим сел на пол, сложил ноги калачиком, потом вдруг вскочил.

– Ну, не хнычь... Все справим... Идем! Кажи, гдэ?

Прохор пошел за Ибрагимом.

– Стой! – остановился тот. – Дэнги нада, платить нада. Полиций бэгать. Гимназий бэгать... Дырехтур стрычь-брыть дарам... не бойся... Ибрагишка все может.

Он рылся в карманах, лазил в стол, в сундук, вытаскивал оттуда деньги и засовывал их за голенища своих чувяков.

– Айда!

2

Лето дряхлело. После жаров вдруг дыхнуло холодом. Завыл густой, осенний ветер. С севера тащились сизые, в седых лохмах, тучи. Печаль охватила зеленый мир. Тучи ползут и ползут, льют холодным дождем, грозят снегом. Потом упрутся в край небес, остановятся над тайгой и с тоски, что не увидать им полдневных стран, плачут без конца, пока не изойдут слезами.

Заимка Громовых, что крепость: вся обнесена сплошным бревенчатым частоколом. Верхушки бревен заострены, окованы, как копыя: лихому человеку не перемахнуть. Ворота грузные, в железных лапах. Вход в них порос травой; они, должно быть, редко отмыкались. Рядом с воротами – высокая калитка, чтоб можно было проехать всаднику. В стене прорублены дозорины. Два сторожа смену держат, все кругом видят. А что за высокой стеной – с воли не видать. Вот если залезть на вершину сосны, что стоит на краю поляны, да раздвинуть ветки, увидишь: в середине бревенчатого четырехугольника красуется просторный, приземистый, под железом, дом. Он в прошлом году срублен. А раньше жили вот в том, посеревшем от времени, флигеле, что прячется за домом. А еще раньше, когда дедушка Данило Громов на это место сел, он жил с женой в маленькой хибарке. Ее тоже берегут, не ломают: пусть внуки-правнуки ведают, посматривая на покосившуюся черную избенку с кустом бузины на крыше, с чего начал дед и до каких хором своими руками достукался.

Откуда пришел сюда Данило Прохорыч почти семьдесят пять лет тому назад – никто не знал.

– Какое кому дело?.. Пришел, да и весь сказ... Из берлоги вылез, – говаривал старик.

И верно. Сначала один, как медведь, корежил тайгу, потом сына Петра поднял. Мельницу-мутовку на речке сделали, пушнину у звероловов скупали, копейку берегли.

И чрез черный труд, чрез плутни, живодерство, скупость постепенно перекочевывали из хибарки во флигель, из флигеля в просторный новый дом.

А теперь весь сухой, в позеленевшей бороде, лысый, но с прежним орлиным взглядом, древний Данило лежал на кровати, под ситцевым пологом.

Ночь была.

– Петька! – позвал он сына. – Петька! Да встань ты, встань... – и закашлялся и зашептал молитву.

В соседней комнате скрипнула кровать.

– Бегу, батюшка! – И в одном белье, босиком шагнул к Даниле чернобородый, лохматый Петр.

– Зажги лампадку.

Петр, что-то бормоча, тревожно зажег лампадку: час был неурочный.

– Подь сюда... Умираю...

У Петра сердце ударило в грудь, сладко замерло, быстро забилося: наконец-то родитель в одночасье сделает сына богачом.

– Петя, – старик взял его за руку. – Вот и конец... вот и...

Петр вздохнул и пристально поглядел в орлиные глаза его.

– Ничего, батюшка. Может, еще...

– Нет, сынок... Крышка... – Старик тяжело задыхался: – Ох, да-кась воды... Помочи голову. – Он взглянул на колыхавшийся огонек лампадки и перекрестился: – Прости, заступница-Богородица... Вот, Петька, ты теперь один останешься. Ну, прости меня, душегуба. Разбойник я... Деньги там... Сосну с развилиной знаешь у Зуева болота?... Ну, отмерь на закат двадцать два шага, камнище найдешь... От камнища три печатных сажени влево: тут:

Петр затаил дыхание, глаза его жадно заблестели, золотой звяк взыграл в ушах.

– На добрые дела... на упокой души... А то погибель мне будет: там не простится, с вас выщется, с тебя, с Прошки, со всего кореню нашего... Церковь сделай... Бедным... богаделенку построй какую... Слышишь?

– Слышу, батюшка... Сполню...

– Перекрестись... Встань на колени... Клянись...

Петр дал клятву. Потом спросил:

– А сколько, батюшка... всего-то?

– Много, Петька... Ох, большой у меня камень на душе... Убивец я... Не одну душу загубил...

– Кого же ты?

– Ну, чего там... Ну... вот опосля скажу. Отходить когда буду... в тот свет... теперича еще, может, оклемаюсь. Буди Марью... Зови Прошку. Да-а... ведь он в науке... Зря... Не надо бы. Зови попа... Пусть Гараська верхом смахает в Медведево... Стой! стой! Подожди-ка... Ну ладно... Покличь Марью...

Петр плохо понимал, что говорил отец. Пред его глазами стояла сосна, серел покрытый мхом вросший в землю камень, блестели и сладко позванивали червонцы, а дальше... разливным морем бурлила вольная жизнь-улада.

Петр наскоро чмокнул отца в холодный лоб, брезгливо отер губы и тряхнул головой:

– Батюшка, благослови.

– Бог тебя благословит. Иди покличь.

Петр расставил локти, благодарно взглянул на лучистый огонек у образов и радостно зашлепал босыми ногами по крашеному полу.

– Марья, батюшка зовет! Вставай!.. – потрепал по плечу жену. – Ну, шевелись...

– Чего такое? – поднялась та, шурясь на зажженную свечу. – А ты куда это?

– А куда надо... за попом, – бросил Петр, вытаскивая из-под кровати болотные сапоги и суетливо обуваясь. – Черти... Смазать не могли. Как дерево, твердые, не лезут... Дьяволы!

Петр стучал грузными сапогами, отыскивал пиджак. Скорей... Проверить... Он отлично помнит этот камень, много раз отдыхал на нем во время охоты.

«Господи! А вдруг да кто-нибудь нашел?»

Терзаясь неизвестностью: богач он или так себе, ни в тех ни сех, – он спустился с крыльца во двор и покликнул Шарика. Тот подкатился к нему серым комом, заюлил возле ног и, обнюхав болотные сапоги, вопросительно взглянул на пустые руки: а где ружье?

– Лука, отопри-ка, – сказал Петр караульному, – с батюшкой чегой-то худо...

– А сам-то куда?

– Да тут, недалече, – смутился Петр и нахлобучил шляпу. – Слушай-ка, Лука. Ты шагай-ка, парень, на кухню. Может, от хозяйки наказ какой выйдет. За попом али что. Ежели за попом – Гараську пошли, пусть Каурку заседляет, а под попа – Сивку.

– Плох, говоришь, старик-то?

– Плох.

Белобрысый, маленький горбун Лука, жалеючи, почмокал губами, сдернул мокрую шапку и перекрестился.

Петр быстро шагал знакомой тропой, Шарик бежал впереди. Мелкий дождь упорно поливал тайгу. Утоптанная тропинка была скользка. Фонарь светил тускло, и Петр раза два натыкался лицом на сучья.

Он спустился в глухую балку и перешел вброд шумливый поток. Путь сделался труднее, без тропы. Пробираясь сквозь чащу, Петр чутьем, как волк, отыскивал направление. Он шел через тьму напролом, потрескивая сухим хворостом. Мысль его усиленно работала, весь он был в зыбком угаре. Он то становился выше ростом, шире в плечах: тогда перед ним вставала богатая, еще не изведанная жизнь на виду у всех, чтоб про него гул по земле катился, чтоб трубы трубили, колокола бухали. То вдруг мечты проваливались в яму: вновь делался он маленьким-маленьким, его жизнь замыкалась навеки в бревенчатом частоколе, что опоясал колдовской чертой их таежную заимку.

Петр приподнял фонарь и водил им кругом, соображая, куда идти.

«Ага! Зуево болото. – Он огладил Шарика, пошел напрямиком. – Вот и сосна».

Он отыскал обомшелый, тот самый, камень, отсчитал три сажени влево. Разгреб пласт хвои с перегноем и стал копать.

Шарик посовал носом в пахучую раненую землю, посмотрел на хозяина и тоже принялся скрести передними лапами, откидывая назад большие комья. Петр взял лом и прощупал яму во всех углах. Лом глубоко уходил в грунт. Пусто. Стал копать в другом месте. Пусто. Петра брало нетерпение. Однако он выбился из сил, подошел к камню, сел и закурил трубку. Сердце его ныло, фонарь остался на сосне, вдали, а здесь, у камня, тьма. Петр посмотрел туда: ему показалось, что фонарь покачивается, а ветра нет.

– Шарик! – крикнул он и посвистал.

Кто-то слегка ткнул его повыше пятки. Петр вскочил.

– Ты?

Шарик ластился к нему. Фонарь теперь висел неподвижно, но железная лопата там, в яме, цокает о землю и скрипит. Петра затрясло.

«Черти роют... Заклятый клад...» – подумал он.

В яме копошилось серое, седое.

– Шарик! Узы! Узы!

И Петр как сумасшедший бросился к яме. «Надо говорить, надо кричать... А то жуть».

Шершавым голосом твердил вслух, ковыряя землю:

– Ай да дедушка Данило!.. Вот так это отец! Ничего, ладно... Душегуб... А? Ну и хорошая наша порода! Шарик, как ты полагаешь? А? Дедушка-то, Данило-то? Знаешь, который костей-то тебе после обеда выносил?.. Чудно... А посмотреть – святитель, станови в иконостас... Копай! Чего лежишь... Шарик!

Но пес, вытянув лапы, смиренно лежал и чужими, бесовскими глазами смотрел хозяину в лицо.

– Ну! Ты! – с испугом крикнул на собаку Петр. – Смотри веселей!

Кругом тьма, жуть. Петр все чаще озирался по сторонам. Кто-то окликает его, ухаает, посвистывает, кто-то в дерево ударил. Дождь холодными струйками стекал со шляпы за ворот. Петр терял терпение. Лопата на что-то натыкалась, глухо звуча. Петр то и дело подносил фонарь и со злобой видел лишь толстые перевившиеся, как змеи, корни со свежими на них белыми ранами.

– Не здесь.

Он вновь тщательно отмерил три сажени и стал рыть чуть поправее.

В тайных глазах собаки сверкнул огонь. «Батюшки, да ведь это не Шарик... Ведь это сатана!..» По спине мороз.

– Шарик!.. Ты?!

Но тот, торчком поставив уши, шагнул вперед и заворчал на тьму... Послышался чуть внятный крик:

– А-а-ааа...

Собака ощетинулась, подняла нос и, втягивая сырой воздух, осторожно пошла верхним чутьем на смолкший голос.

– Господи Христе... – встревожился Петр. – А ведь это сатана застрашивает...

– А-а-ааа, – вновь почудилось из тьмы, и где-то твкнул Шарик.

Петр насторожился, переступил ногами: в сапогах жмыкала вода.

«Запугать хочет...» – Он вытащил из-под рубахи крест.

– Ну-ка... С нами Бог! – поплевал на руки, расставил ноги и со всего маху, крикнув, долбанул ломом землю. Звякнул металл. Припрыгнув, Петр ударил немного правее.

– С нами Бог! – Лом вновь стукнулся о металл и соскользнул.

Забыв про холод, Петр сбросил пиджак и в одной рубахе, напрягая сильные мускулы, швырял землю, как мягкий пух.

– А ну! А ну!

Мрак серел. Занималось пасмурное утро. Петр спустился в яму и, разгребая руками черную грязь, едва выворотил из земли большой котел.

– Ху-уу!.. – взвыл он и вытащил из котла кожаную суму. Он тряхнул – сума звякнула.

– Золото...

Его руки плясали, лицо улыбалось. На него, виляя хвостом, удивленно смотрел Шарик.

– Шарик!.. Шаринька!.. Эва! Видал?!

Он схватил его в охапку и стал крутиться с ним возле ямы. Стиснутый пес кряхтел, молот хвостом. А Петр притопывал, ухал, подсвистывал и хохотал.

– Папаша!.. Что ты!..

Петр врос в землю. Пред ним стоял всадник. Поодаль, в сереющей мгле, всхрапывала лошадь.

– Папашенька... Это я... – сказал Прохор. Он соскочил с седла и несмело стал подходить к тяжело пыхтевшему, чуть попятившемуся от него отцу.

Вдруг отец резко нагнулся и выхватил из-за голенища нож.

– Убью!! – Как медведь на дыбах, он встал возле сумы, сверкал ножом и тяжело, с присвистом, дышал. – Проходи, проходи!.. Не отдам... Эва!.. Крест... Рассыпсь! Фу!!

– Да что ты, папаша!.. – испугавшись, плаксиво крикнул сын.

– Прощка? ты?!

– Я... Ночевали тут. Заблудились... Ты чего в грязи?

– Так, Прощка... Ничего... Ну, айда домой!.. Дедушка Данило хворает... Плох. А ты пошто приехал?

– Исключили меня... уволили.

Дома они узнали, что их отец и дед, древний Данило, преставился в ночи.

3

Торговое село Медведево стояло при реке.

Петр Громов перебрался с семьей сюда. Он живо выстроил двухэтажный дом со светелкой, открыл торговлю.

Прохору очень нравилась кипучая работа. Он разбивал рулеткой план дома, ездил с мужиками в лес, вел табеля рабочим и, несмотря на свои семнадцать лет, был правой рукой отца.

– Ну, Прошка, далеко пойдешь, – говорил он сыну.

– А как же, папаша, насчет гимназии-то?

– Ну, чего там... дома выучишься... У меня другое в голове...

Он любовно осматривал Прохора, его тонкую, высокую фигуру, орлиный, из-под густых бровей взгляд и думал: «Весь в дедушку Данилу».

Прохор всегда в деле. Улица, катанье с гор, масленичные веселые дни, посиделки с девками не тянули его. В лавке, в тайге с ружьем, во дворе при доме, – Прохор всегда у дела.

Он все старался воду в баню провести при посредстве архимедова винта, как в книжке вычитал, да не сумел. Тогда стал от дровяного склада железную дорогу строить, чтоб можно было в дом дрова возить.

Он много читал, брал книги у священника, у писаря, у политических ссыльных, и прочитанное крепко западало в его голову.

Однажды, перед весной, отец сказал за чаем:

– Прохор, вот что, брат... Возьми-ка ты человека да собирайся на Угрюм-реку... Слыхал?

– Надо, папаша, карту...

– Какую еще карту?... Дай-ка сюда лист бумаги, я тебе срисую... Хоть сам сроду не бывал там, а от бывалых людей слыхивал.

Марья Кирилловна переводила от сына к мужу испуганный взгляд свой и вздыхала.

– Пофыркай!.. – пригрозил ей Петр. – Раз решено, значит баста. – Он послюнил карандаш и неловко провел по бумаге черту. – Вот это, скажем, дорога от нас в Дылдино, двести сорок верст... Отсюда свернешь на Фролку – верст триста с гаком. Тут река Большой Поток предвидится. Отсюда перемахнешь через волок на Угрюм-реку, в самую вершину.

Купец поставил крест и сказал:

– Это деревня Подволочная на Угрюм-реке. Там построишь плот либо купишь большую лодку, – шитик называется, – сухарей засушишь... Да там тебе укажут мужики, что надо. А весной, по большой воде поплывешь вниз.

– Зачем, папаша? – спросил Прохор и взглянул на мать. Из ее глаз текли слезы. – Зачем же мне туда ехать?

– Ну, это не твое дело. Слушай.

И целый час объяснял Прохору, что он должен делать.

– Река большая... слышал я – три тыщи верст. Она впала в самую огромную речницу, а та – прямо в окиян. Тунгусы, якуты по ней. Там большие капиталы приобрести можно... Будут встречаться торговцы в деревнях, всех расспрашивай и все записывай в книжку. А язык за зубами, кто ты таков, по какому случаю... А просто – проезжающий. Ну вот, милячок, опасности тебе много будет... А может, и погибнешь, не дай боже... Это к тому, что остерегайся, ухо остро держи.

– Не пушу... не пушу!.. – заверещала мать и притянула к себе сына: – Прошенька ты мой, ангел ты мой!..

Петр резко постучал торцом карандаша в столешницу.

– Будя-а-а!..

Мать выпустила Прохора и, горько заплакав, ушла.

Прохор дрожал. Ему хотелось кинуться, утешить мать, но отец взял его за рукав и усадил возле.

– Ух! – выдохнул отец. – Не слушай баб, не обращай внимания... Иди напролом, никого не бойся, человеком будешь.

– Папаша, а можно мне с собой одного знакомого захватить... Мы с ним вдвоем...

– Кто такой?..

Проخور, волнуясь, рассказал ему о горце. Мать у Ибрагима черкешенка, отец турок, а сам Ибрагим-Оглы называет себя черкесом.

– Верный, говоришь? Так, правильно. Этот народ – либо первый живорез, либо друг, лучше собаки... Валяй!

Проخور повеселел и тут же написал Ибрагиму письмо: «Будешь служить у нас... Папаша положит хорошее жалованье».

Начались сборы. Мать чинила белье, сушила пшеничные сухари, готовила впрок пельмени. Скрепя сердце она примирилась с отъездом сына. Петр старался внушить ей, что в коммерческом деле без риска нельзя.

– Вспомни-ка дедушку Данилу, родителя моего... Двадцать раз у смерти в зубах был, а, слава богу, почитай, до ста лет дожил...

Марья Кирилловна успокоилась.

Дорога еще не рухнула, стояли последние морозы, приближался март. Вдруг среди ночи громко залились собаки.

«Ибрагим», – подумал Проخور и сквозь двойные рамы услышал:

– Отворяй!.. Нэ пустишь, через стэна перемахнем, всех собак зарэжим, тебя зарэжим!..

– Ибрагим! – радостно крикнул Проخور, сунул ноги в валенки и выскочил на двор в накинутом бешмете.

– Ну, Прошка, вот и мы... – обнял его горец. – Спасибо, Прошка. Моя все бросал, тайгам любим, слабодный жизнь любим... Ничего, Прошка, едэм... Живой будэшь...

Отцу с матерью Ибрагим-Оглы понравился. Его разбойничий облик не испугал их: много в тайге всякого народу приходится встречать.

Промелькнула неделя.

– Вот, Ибрагим, – сказал ему Петр, – доверяю тебе сына... Я про тебя в городе слышал... Можешь ли быть вроде как телохранителем?

– Умру! – захлебнувшись чувством преданности, взвизгнул горец. – Ежели доверяешь, здохнэм, а нэ выдам... Крайность придет – всех зарэжим, его спасем... Цх! Давай руку; давай, хозяин, руку. Ну! Будем кунаки...

Чай пили в кухне, попросту, как при дедушке Даниле, – хозяева и работники вместе. Кухня просторная, светлая, стол широкий, придвинутый в передний угол, к лавкам, идущим вдоль стены.

Ярко топилась печь. Кухарка, краснощекая Варварушка, едва успевала подавать пышные оладьи. Масло лилось рекой. Вкусно любили поесть хозяева, да и приказчики с рабочими не отставали.

А хозяйка, Марья Кирилловна, поощрительно покрикивала:

– Ребята, макайте в мед-то!.. С медом-то оладьи лучше... Ибрагимушка, кушай. Варварушка, садись...

Ибрагим пил чай до шестого пота. Он всегда угрюм и молчалив. Но сегодня распоясался: хозяин оказал ему полное доверие, почет.

Ибрагим, обтирая рукавом синего бешмета свой потный череп, говорил:

– Совсэм зря... каторгу гнали...

– За что? – враз спросила вся застолица.

Ибрагим провел по усам рукой, икнул и начал:

– Совсэм зря... Сидым свой сакля², пьем чай. Прибежал один джигит: «Ибрагим, вставай, твоя брат зарэзан!» Сидым, пьем. Еще джигит прибежал: «Вставай, другой брат рэзан!»

² Крестьянский дом на Кавказе.

Сидым, пьем. Третий прибежал: «Бросай скорей чай, твоя сестра зарезан!» Тогда моя вскочил, – он сорвался с места и кинулся на середину кухни, – кинжал в зубы, из сакля вон, сам всех кончал, семерым башкам рубил! Вот так! – Черкес выхватил кинжал и сек им воздух, скрипя зубами.

Все, разинув рот, уставились в дико искажившееся лицо горца.

Вскоре Прохор с телохранителем отправился в безвестный дальний путь.

4

Петр Громов после смерти родителя зажил широко.

– Все время на цепи сидел, как шавка... Раскачаться надо, мощной тряхнуть...

И в день Марии Египетской именины своей жены справил на славу. Поздравил ее после обедни и не упустил сказать:

– Ты все-таки не подумай, что тебя ради будет пир горой... А просто так, из амбиции...

Гости толклись весь день. Не успев как следует проспать, вечером вновь явились – полон дом.

Мария Кирилловна хлопотала на кухне, гостей чествовал хозяин.

Зала – довольно просторная комната в пестрых обоях, потолок расписан петухами и цветочками, а в середине – рожа вельзевула, в разинутый рот ввинчен крюк, поддерживающий лампу со стеклянными висюльками.

Посреди залы – огромный круглый стол; к нему придвинут поменьше – четырехугольный, специально для «винной батареи», как выражался господин пристав – почетнейший гость, – из штрафных офицеров, грудь колесом, огромные усы врзлет.

– Ну, вот, гуляйте-ка к столу, гуляйте! – посмеиваясь и подталкивая гостей, распорядился хозяин в синей, толстого сукна поддевке. – Отец Ипат, лафитцу! Кисленького. Получайте...

– Мне попроще. – И священник, елозя рукавом рясы по маринованным рыжикам, тянется к графину.

– А ты сначала виноградного, а потом и всероссийского проствейна, – шутит хозяин. – А то ершахвати, водки да лафитцу.

– Поди ты к монаху в пазуху, – острит священник. – Чего ради? А впрочем... – Он смешал в чайном стакане водку с коньяком. – Ну, дай бог! – и, не моргнув глазом, выпил: – Зелó борзó³!

Старшина с брюшком, борода темно-рыжая, лопатой, хихикнул и сказал:

– До чего вы крепки, отец Ипат, Бог вас храни... Даже удивительно.

– А что?

– Я бы, простите бога ради, не мог. Я бы тут и окочурился.

– Привычка... А потом – натура. У меня папаша от запоя помре. Чуешь?

– Ай-яяй!.. Царство им небесное, – перекрестился старшина, взглянув на лампадку перед кивотом⁴, и хлопнул рюмку перцовки: – С именинницей, Петр Данилыч!

– Кушайте во славу... Господин пристав! Чур, не отставать...

– Что вы!.. Я уже третью...

– Какой там, к шуту, счет... Иван Кондратыч, а ты чего?.. А еще писарем считаешься.

– Пожалуйста, не сомневайтесь... Мы свое дело туго знаем, – ответил писарь, высокий, чохоточный, с маленькой бородкой; шея у него – в аршин.

Было несколько зажиточных крестьян с женами. Все жены – с большими животами, «в тягостях». Крестьяне сначала конфузились станового, щелкали кедровые орехи и семечки; потом, когда пристав пропустил десятую и, чуть обалдев, превратился в веселого теленка; кре-

³ Выражение заимствовано из древнерусского языка, означает «очень хорошо» или «очень быстро».

⁴ Специальный застекленный шкафчик для хранения и защиты украшений и икон от пыли и влаги.

стьяне стали поразвязней, «дергали» рюмку за рюмкой, от них не отставали и беременные жены.

Самая замечательная из всех гостей, конечно, Анфиса Петровна Козырева, молодая вдова, красавица, когда-то служившая у покойного Данилы в горничных девчонках, а впоследствии вышедшая за ротного вахмистра лейб-гусарского его величества полка Антипа Дегтярева, внезапно умершего от неизвестной причины на вторую неделю брака. Она не любила вспоминать о муже и стала вновь носить девичью фамилию.

Бравый пристав, невзирая на свое семейное положение, довольно откровенно пялил сладкие глаза на ее высокую грудь, чуть-чуть открытую.

Она же – нечего греха таить – слегка заигрывала с самим хозяином. Угощал хозяин всякими закусками: край богатый, сытный, и денег у купца невпроворот. Нельмовые пупы жирнущие, вяленое, отжатое в сливках, мясо, оленьи языки, сохатинные разварные губы, а потом всякие кандибоберы заморские и русские, всякие вина – английских, американских, японских погребов.

Гости осмелели, прожорливо накинулись на яства, – говорить тут некогда, – громко, вкусно чавкали, наскоро глотали, снова тыкали вилками в самые жирные куски, и некоторых от объедения уже бросило в необоримый сон.

Но это только присказка. И лишь пробили стенные часы десять, а под колпаком – тринадцать, всплыла в комнату сама именинница, кротко улыбаясь бесхитростным лицом и всей своей простой тихой в коричневом платье фигурой.

– Ну, дорогие гостеньки, пожалуйста поужинать... – радушно сказала она. – Гуляйте в столовую, гуляйте.

Все вдруг смолкло: остановились вилки, перестали чавкать рты.

– Поужи-и-нать? – хлопнул себя по крутым бедрам отец Ипат, засвистал, присел, потешно схватившись за бородку. – Да ты, мать, в уме ли? – И захохотал.

Пристав закатился мягким, благопристойным смехом и, щелкнув шпорами, поцеловал руку именинницы.

– Пощадите!.. Что вы-с... Еле дышим...

– Без пирога нельзя... Как это можно, – говорила именинница. – Анфисушка, отец Ипат, пожалуйста, пожалуйста в ту комнату. Гуляйте...

Всех охватило игривое, но и подавленное настроение: животы набиты туго, до отказа, – отродясь такого не было, чтобы обед, а после обеда – этакая сытная закуска, а после закуски – ужин...

Крестьяне стояли, выпучив глаза, и одергивали рубахи, их жены икали и посмеивались, прикрывая рот рукой.

Однако, повинувшись необычному гостеприимству, толпой повалили в столовую. Низкорослый толстенький отец Ипат дорогой корил хозяина:

– А почему бы не предупредить... Я переложил дюже... Эх, Петр Данилыч!.. А впрочем... Могий вместити да вместит... С чем пирог-то? С осетром небось? Фю-фю... Лю-ю-блю пирог.

За столом шумно, весело. Поначалу как будто гости призадумались, наливаю уху кушали с осторожностью, пытая натуру: слава богу, в животах полное благополучие, для именинного пирога места хватит. А вот некоторые в расчетах зело ошиблись, и после пятого блюда, а именно – гуся с кашей, отец Ипат, за ним староста и с превеликим смущением сам господин пристав куда-то поспешно скрылись, якобы за платком в шинель или за папиросами, но вскоре пожаловали вновь, красные, утирая заплаканные глаза и приводя в порядок бороды.

– Анфиса Петровна! Желаю выпить... только с тобой. Чуешь? – звонко, возбужденно говорил хозяин и тянулся чокнуться с сидевшей напротив него красавицей-вдовой.

– Ах, чтой-то право, – жеманилась Анфиса, надменно, со злой усмешкой посматривая на именинницу.

– Ну, не ломайся, не ломайся... Эх ты, малина!.. Ведь я тебя еще девчонкой вот этакой, голопятенкой знавал...

– А где-то теперича Прошенька наш?.. – вздохнула Марья Кирилловна, усмотрев, как моргает нахальная вдова купцу, а тот...

– Прохор теперь большо-о-й, – сказал отец Ипат, аппетитно, с новым усердием обгладывая утиную ножку. – Надо Бога благодарить, мать... Вот чего...

– Да ведь край-то какой!.. А он – мальчишка, почитай.

– Смелым Бог владеет, мать... Поминай в молитвах, да и всё.

– Вы помяните у престола, батюшка...

– Помяну, мать, помяну... Ну-ка, клади, чего там у тебя? Поросенок, что ль? Смерть люблю поросятину... Зело борзо!..

– А ну, под поросенка! – налил пристав коньяку. – Хе-хе-хе!.. Ваше здоровье, дражайшая! – крикнул он и так искусно вильнул глазами, что на его приветствие откликнулись сразу обе женщины: «Кушайте, кушайте!» – Анфиса и Марья Кирилловна.

– А поросенок этот, простите бога ради, доморощенный? – поинтересовался старшина, которого начало изрядно пучить, – отличный поросенок... Видать, что свой... Вот у меня, в третьем годе...

– Анфиса!.. Анфиса Петровна!.. настоящая ты пава...

– Кто? Кто такой?

– Прошенька-то ведь у меня единственный...

– Ах, хорош, хорош паренек, простите великодушно.

– Петрован!.. Слышь-ка... Данилыч... Эй! хозяин.

– Погодь! Дай ему с кралей-то, – развязали языки крестьяне.

– Эх, на тройках бы... Анфиса! А?

– На тройках?.. Зело борзо!.. – вскрикнул веселый отец Ипат. – Мать, чего там у тебя еще?..

Притащили гору котлет из рябчиков.

– Мимо... не желаем!.. – закричал белобородый румяный старик. – Ух, до чего!.. Аж мутит.

– Нет, мать... Ты этак нас окормишь.

– Кушайте, дорогие гости, кушайте.

– Ешь, братцы, гуляй!.. Царство небесное родителю моему... Капиталишко оставил подходящий...

– А ты на церковь жертвуй! Духовным отцам своим.

– На-ка, выкуси! Ххха-ха!.. Мы еще сами поживем... Анфиса, верно?

– Наше дело сторона, – передернула та круглыми плечами.

– А вот киселька отведайте!.. С молочком, с ватрушечками. Получайте.

– А подь ты с киселем-то... Ну, кто едет?.. Эй, Гараська! Крикни кучеру... Тройку!..

– Постыдись! – кротко сказала жена, сдерживая раздражение.

– К черту кисели, к черту!..

– Нет, Петр Данилыч... Погоди, постой... До киселька я охоч... – И священник, икая, наложил полную тарелку.

– Господа, тост!.. – звякнул пристав шпорами и, браво крутя ус, покосился на ясное, загоревшееся лицо Анфисы. – Уж если вы, Петр Данилыч, решили широко жить, давайте по-благородному. Тост!

– К черту тост! К черту по-благородному! – махал руками, тряс кудлатой бородой хозяин: – Тройку!.. Анфисушка, уважь...

– Постыдись ты, Петруша... Людей-то постыдись...
– Людей?! Ха-ха!.. – И, вынув пухлый бумажник, хлопнул им в ладонь. – Во!.. Тут те весь закон, все люди...

После ужина затеяли плясы. Но у плясунов пьяные ноги плели бог знает что, и от обжорства всех мутило. Отец Ипат, выставив живот, тяжело пыхтел в углу, вдавившись меж ручек кресла.

– Обкормила ты нас, мать, зело борзо. Ведь этакой прорвой пять тысяч народу насытить можно...

– Едем! – появился Петр Данилыч в оленьей дохе и пыжиковой с длинными наушниками шапке. – Анфиса! Батя!

И в тесной прихожей, где столпившиеся гости тыкались пьяными головами в чужие животы, в зады, Петр Данилыч громко, чтоб все слышали, говорил оправлявшей пуховую шаль вдове:

– Хоть я, может, и не люблю тебя, Анфиса... при всех заявляю и при тебе равным манером, отец Ипат... Что мне ты, Анфиска? Тьфу!.. Из-под дедушки Данилы горшки носила. Ну, допустим, рожа у тебя... это верно что, и все такое, скажем в аккурате... Одначе едем кататься вместех. Назло бабе своей. Реви, фефела, реви... Едем, Анфиска!!!

Под звездным небом все почувствовали себя бодрее. Отец Ипат прикладывал к вискам снег и отдувался.

Тройка вороных смиренно ждала.

– Марковой, слезовой! – шутливо проблеял батя кучеру Марку, копной сидевшему на козлах в вывороченной вверх мехом яге и собачьих мохнатках.

– Слезовай, Марковой!

– А ты сам, батя, что ли?.. Мотри, кувырнешь хозяина-то, – покарабкалась с козел, бухнула в сугроб копна.

– Ну, скоро вы? – горел нетерпением купец.

– Живчиком!.. Марковой, ну-ка засупонь меня... Не туго!.. Пошто туго-то?! – хрипел отец Ипат. – Аж глаза на лоб. Уф!.. Ну и нажрался... – Перетянутый кушаком по большому животу, он взгромоздился на козлы, забрал в горсть вожжи и, взмахнув кнутом, залихватски свистнул: – Ну-у вы!.. Богава мошкара... фють!!

Гладкие кони закусили удила, помчались. На первой же версте, на повороте, сани хвастились о пень, седоки врезались торчмя в глубокий сугроб, а тройка, переехав священника санями, скрылась.

– Править бы тебе, кутья прокислая, дохлой собакой, а не лошадьми! – выпрастывая из снега хохотавшую Анфису, сердился Петр Данилыч.

– Но, но... Ты полегче... – подбирая меховую скуфью с рукавицами, огрызнулся отец Ипат. – И не на таких тройках еживали.

Вся сельская знать, бывшая на именинах, мучилась животами суток трое. Отец Ипат благополучно отпился огуречным рассолом, пристав перепробовал все средства из походной аптечки Келлера, староста выгонял излишки баннным паром, редькой.

А сам хозяин неделю ходил с завязанной шеей и не мог поворотить головы.

– Ямщикок!.. Чертов угодничек! – брюзжал он на попа.

5

На реку Большой Поток наши путники прибыли ранней весной. Могучая река даже в межень достигала здесь трехверстной ширины, а теперь разлилась на необозримые пространства. Острова были покрыты водой, и только щетки затопленного леса обозначали их границы.

Кое-где еще плыли одинокие льдины, иной раз такие огромные, что, казалось, на каждой из них смело могли бы разместиться деревни три-четыре с пашнями и лугами.

На матерых берегах лежали высокие торосы выброшенного льда, отливавшего на солнце цветами радуги.

Картина была привольна, дика, величественна. Скользящая масса воды замыкалась с одной стороны скалистым, поросшим густолесьем берегом, с другой – сливалась с синей далью горизонта. Вечерами ходили вдаль туманы, а утренней зарей тянулись седые низкие облака. Когда вставало солнце, всегда зачинался легкий ветерок, и рябь реки загоралась. Ни деревень, ни сел. Впрочем, вдалеке виднелась церковь. Это село Почуйское, откуда поедут в неведомый край Прохор с Ибрагимом-Оглы.

Прохор сделал визит почуйскому священнику. Тот сидел в кухне, пил водку и закусывал солеными груздями.

– А ты не осуждай... Мало ли чего... – встретил он гостя. – Мы здесь все пьем понемножку. Скука, брат. Да и для пищеварения хорошо. И пищу мы принимаем с утра до ночи: сторона наша северная, сам видишь. А ты кто?

Прохор назвал себя.

– А-а... Так-так... То есть, тунгусов грабить надумали с отцом? Дело. Пьешь? Нет? А будешь. По роже вижу, что будешь... Примечательная рожа у тебя, молодец... Орленок!.. И нос как у орла, и глаза... – батюшка выпил, пожевал грибок. – Прок из тебя большой будет... Ты не Прохор, а Прок. Так я тебя и поминать у престола буду, ежели ты полсотенки пожертвуешь...

– Эх, господи! – вздохнул кто-то в темном углу. – Прок, что бараний рог: оборот сделал, да барану в глаз.

Прохор оглянулся. У печки – конопатый мужик лет сорока пяти, плечистый, лысый, вяжет чулки.

– Это Павел, – пояснил батюшка, – слепорожденный. Прорицает иногда. А что, раб Божий Павел, разве чужь?

– Чует сердце. Начало хорошее, середка кипучая, а кончик – оёй!.. – Слепец перекрестился и вздохнул.

– А ты выдыш конца, слепой дурак?! – крикнул Ибрагим. – Шарлатан! Борода волочить надо за такой слова. Чего ребенка мутишь?

– Эх, господи!.. Татарин, что ли, это? – поднял незрячие глаза раб Божий.

Батюшка усмехнулся, шепнул Прохору:

– Прохиндей, не верь... Дурачка ломает, – и громко: – А вот скоро пожалуют сюда с плавучей ярмаркой купцы.

– С плавучей? – переспросил Прохор. – Интересно.

Через два дня, на закате солнца, Прохор встречал эту ярмарку. Вдали забелели оснащенные парусами баржи. Течение и попутный ветер быстро несли их к селу. Белыми лебедями, выставив выпуклые груди парусов, они плыли друг за другом.

– Сорок штук... Ибрагим, красиво? – залюбовался Прохор.

Вскоре ярмарка открылась: выкинули флаги, распахнули двери плавучих магазинов. Зачалось торжище.

Все село высыпало на берег. Выезжали из тайги с огромными караванами оленей якуты и тунгусы, по вольному простору реки со всех сторон скользили лодки: надо торопиться окрестным селам и улусам – через три дня ярмарка двинется дальше, за сотни верст.

С ранней весны до поздней осени плывет она на дальний север, заезжает в каждое богатое село и, наконец, останавливается в Якутске. Там все распродается, баржи бросаются на произвол судьбы, и обогатившиеся торговцы возвращаются домой.

Вечером Прохор Громов обошел всю плавучую ярмарку и остановился у самого нарядного магазина. От берега, борт к борту, счалены три баржи. На каждой – дощатые, в виде дачных домов, надстройки. Разноцветные по карнизу фонари и вывеска:

ТОРГОВЫЙ ДОМ ГРУЗДЕВ С СЫНОВЬЯМИ

Прохор вошел в первую баржу-магазин: все полки завалены мануфактурой, сияли четыре лампы-«молнии», покупатели жмурились от ослепительного света, желтый шелк и ситец полыхали от ловких взмахов молодцов-приказчиков. Тунгусы стояли как бы в оцепенении, не зная, что купить, только причмокивали безусыми губами. Пахло потом, керосиновой копотью и терпким каленым запахом от кубовых, кумачных тканей.

Хозяин, глава дома, Иннокентий Филатич Груздев – седой, круглобородый старик – очки на лоб, бархатный картуз на затылок – едва успевал получать деньги: звонким ручейком струилось золото, серебряной рекой текли круглые рубли, осенним листопадом шуршали бумажки. Шум, говор, крик.

– Уважь, чего ты!.. Сбрось хоть копейку.

– Дешевле дешевого... Резать, нет?

– Гвоздя бы мне... Есть гвоздь?

– Проходи в крайний...

– А крендели где у вас тут?

Прохор стоял у стены и улыбался. Ему нравился весь этот шумливый торг: вот бы встать за прилавок да поиграть аршинчиком.

– Раздайсь! Эй ты, деревня! – вдруг гаркнул вошедший оборванец с подбитым глазом. – Прочь, орда! Приискатель прет! Здорово, купцы! – Он хлопнул тряпичной шапкой о прилавок, изрядно испугав дородную, покупавшую бархат, попадью.

– Почему? – выхватил приискатель из рук матушки кусок бархату.

– Семь с полтиной... Проходи, не безобразь, – сухо сказал приказчик.

– Дрянь! Дай высчий сорт... Рублев на двадцать, – прохрипел оборванец. – Да поскорее ича! Знаешь, кто я таков? Я – Иван Пятаков, – куплю и выкуплю. У меня вот здесь, – он хлопнул по карману, – два фунта золотой крупы, а тут вот самородок поболее твоей нюхалки. Чуешь?

«Сам» мигнул другому молодцу. Тот весело брякнул на прилавок непечатый кусок бархату:

– Пожалте! Выше нет. Специально для графьев.

– Угу, хорош, – зажав ноздрю, сморкнулся приискатель. – А лучше нет? Ворс слаб... ну, ладно. Скольки, ежели на пару онуч?

– На пару онуч? – захолопал глазами приказчик. – Тоись, портянок?

– Аршина по два!.. – крикнул «сам» и благодушно засопел.

– Это уж ты по два носи! Дай по четыре, либо, для ровного счета, по пяти.

Когда все было сделано, он швырнул броском две сотенные бумажки, сел на пол:

– Уйди, орда! – и стал наматывать бархат на свои грязнейшие прелые лапы, напялил чирки-бахилы, притопнул:

– Прочь, деревня! Иван Пятаков жалаит в кабак патишествовать... Кто вина жрать хочет, все за мной!.. Гуляй наша!..

И, задрвав вверх козью бороду, пошел на берег. Длинные полосы бархату, вылезая из бахил, ползли вслед мягкими волнами. Удивленные примолкшие покупатели враз все заговорили, засмеялись.

– Ну и кобылка востропятая!

– Вот какие народы из тайги выползают. Прямо тысячники... – сказал «сам» мягким масляным тенорком. – А к утру до креста все спустит... Смее-ешной народ...

До самой ночи гудела ярмарка. Но купец Груздев затворил магазин рано.

– Почин, слава те Христу, добер. Надобно и отдохнуть. Ну-ка, чайку нам да закусочки... с гостеньком-то, – скомандовал он и взял Прохора за руку. – Пойдем, молодчик дорогой, ко мне в берлогу... Знакомы будем... Так, стало быть, по коммерческой части? Резонт. Полный резонт, говорю. Потому, купцу везде лафа. И кушает купец всегда пироги с начинкой да со сдобной корочкой. Ну, и Богу тоже от него полный почет и уваженье.

Из мануфактурного отдела они через каламянковые расшитые кумачом драпировки прошли во вторую баржу: «бакалею и галантерею».

Купец отобрал на закуску несколько коробок консервов:

– Я сам-то не люблю в жестянках, для тебя это. А я больше уважаю живность. Купишь осетра этак пудика на два, на три да вспорешь, ан там икры фунтиков поболее десятка, подсолишь да с лучком... Да ежели под коньячок, ну-у, черт ты дери! – захлебнулся купец и сплюнул. Сладко сглотнули и приказчики.

– Эх, Прохор Петрович!.. Хорошо, мол, жить на белом свете! Вот я – старик, а тыщу лет бы прожил. Вот те Христос! Нравится мне все это: работа, труд, а когда можно – гулеванье. Ух, ты-но!

– Мы еще с вами встретимся... Вместе еще поработаем.

– О-о-о... А кой тебе годик, молодец хороший?

– Восемнадцать.

– О-о-о!.. Я думал – года двадцать два. Видный парень, ничего. А капиталы у тятки есть?

– Тятка тут ни при чем. Я сам буду миллионщиком! – И глаза Прохора заиграли мальчишеским задором.

Купец засмеялся ласково, живые черные глазки его потонули в седых бровях и розовых щеках. Он хлопнул Прохора по плечу, сказал:

– Пойдем, парень, хлебнем чайку. Поди, девчонки-то заглядываются на тебя? Ничего, ничего... Хе-хе...

До полночи вразумлял его Иннокентий Филатыч, как надо плыть неведомой рекой, что надо высматривать, с кем сводить знакомство. Прохор слушал внимательно и кое-что заносил для крепости в книжку. Сидели они в небольшой комнате об одно оконце. Тут была и походная кровать с заячьим одеялом и три, с лампадкой, образа, возле которых висела гитара.

Старик курил папиросы третий сорт «Трезвон», прикладывался к коньячку, крестился на иконы, лез целоваться к Прохору и под конец всплакнул:

– Ну и молодчага ж ты, сукин сын, Прошка!.. Вот тебе Христос. Женю... Девка есть у меня на примете. Сватом буду. Запиши: город Крайск. Яков Назарыч Куприянов, именитый купец, медаль имеет. Ну, медаль-миндаль, нам – тьфу! А есть у него дочка. Ниночка... Понял? Так и пиши, едрить твою в кочерыжки...

Весело возвращался Прохор домой. Вдоль берега костры горели. У костров копошились, варили оленину, лежали, пели песни охмелевшие тунгусы в ярких цветных своих, шитых бисером, костюмах, меховых чиккульманах, черные, волосатые, с заплетенными косичками. Пылало пламя, огнились красные повязки на черных головах, звучал гортанный говор.

Небо было синее, звездное. Месяц заключился в круг. Большой Поток шумел, искрились под лунным светом проплывавшие остатки льдов.

Через три дня ярмарка двинулась на понизово. Первыми снялись и всплеснули на утреннем солнце потесями-веслами баржи Груздева.

– Только бы на стрежень выбиться! – весело покрикивал старик. – А там подхватит.

Дул сильный встречный ветер; он мешал сплаву: баржи, преодолевая силу ветра, едва двигались на понизово. Но человеческий опыт знал секрет борьбы. С каждой стороны в носовой части баржи принялись спускать в реку водяные паруса.

Проخور, не утерпевший проводить ярмарку до первого изгибня реки, с жаром, засучив рукава, работал. Ему в диковинку были и эти водяные паруса и уносившиеся в вольную даль расписные плавучие строенья.

– Нажми, нажми, молодчики! Приударь! Гоп-ля! Рабочие, колесом выпятив грудь и откинув зады, пружинно били по воде длинными гребями.

– Держи нос на стрежень!

– Сваливай, свали-ва-й! – звонко несло над широкой водной гладью.

– Ха-ха! Смешно, – смеивался Проخور, помогая рабочим. – В воде, а паруса... Как же они действуют?

На палубе лежала двухсаженная из дерева рама, затянутая брезентом. Ее спустили в воду, поставили стоймя, одно ребро укрепили впритык к борту, другое расчалили веревками к носу и корме. С другого борта, как раз против этой рамы, поставили вторую. Баржа стала походить на сказочную рыбу с торчащими под прямым углом к туловищу плавниками.

– Очень даже просто... Та-аперича пойдет, – пояснил бородач-рабочий и засопел.

Проخور догадался сам: встречный ветер норовил остановить баржу, а попутное течение с силой било в водяные паруса и, противодействуя ветру, перло баржу по волнам. Барже любо-весело: звенит-хохочет бубенцами, что подвешены к высоким мачтовым флюгаркам, увенчанным изображением св. Николая. Поскрипывают гребни, гудят канаты воздушных парусов, друг за другом несутся баржи в холодный край.

Разгульный ветер встречу, встречу, а струи – в паруса – несутся гости.

– Хорошо, черт забирай! – встряхнул плечами Проخور, его взгляд окидывал с любовью даль.

– У-у-у... благодать!.. Гляди, зыбь-то от солнышка каким серебром пошла. Ну, братцы, подходи, подходи... С отвалом! – кричал хозяин и тряс соблазнительно блестящей четвертью вина.

Пили, крякали, утирали бороды, закусывали собственными языками, вновь подставляли стакашек.

– Ну, Иннокентий Филатыч, мне пора уж, – сказал Проخور.

Старик поцеловал его в губы.

– Плыви со Христом. А про Ниночку попомни. Эй, лодку!

И, когда Проخور встал на твердый берег, с баржи Груздева загрохотали выстрелы.

– До свиданья-а-а!.. Счастливо-о-о!! – надсаживался Проخور и сам стал палить из револьвера в воздух.

На барже продолжали бұхать, прощальные гулы катились по реке.

Проخور быстро пришел в село. У догоревших костров валялись пьяные, обобранные купцами инородцы, собаки жрали из котлов хозяйский остывший корм; какая-то тунгуска, почти голая, в разодранной сверху донизу одежде, обхватив руками сроду нечесанную голову, выла в голос.

А в стороне, у камня, раскинув ноги и крепко зажав в руке бутылку водки, валялся вверх бородой раб Божий Павел и храпел. На его груди спал жирнувший поповский кот, уткнув морду в недовязанный чулок.

Прохор постоял над пьяным прорицателем, посмеялся, но в юном сердце шевельнулся страх: а ну, как он колдун? Прохор сделался серьезен, щелкнул в лоб kota и положил на храповшую грудь слепого гривенник:

– На, раб Божий Павел, прими.

6

– Я простоквашу, Танечка, люблю. Принеси нам с Ибрагимом кринку⁵, – сказал поутру Прохор хозяйской востроглазой дочери.

– Чисас, чисас, – прощепетала девушка, провела под носом указательным пальцем и медлила уходить – загляделась на Прохора.

– Адин нога здэсь, другой там... Марш! – крикнул Ибрагим в шутку, но девица опрорметью в дверь.

– Цх! Трусим?.. Ничего. Ну, вставай, Прошка, пора. Сухарь дорогу делать будем, шитик конопатить будем. Через неделю плыть: вода уйдет.

Прохору лень подыматься: укрытый буркой, он лежал на чистом крашеном полу и рассматривал комнату зажиточного мужика-таежника. Дверь, расписанная немудрой кистью прохожего бродяги, вся в зайчиках утреннего солнца. Семь ружей на стене: малопулька, турка, медвежиное, централка, три кремневых самодельных, в углу рогатина-пальма, вдоль стен – кованые железом сундуки, покрытые тунгусскими ковриками из оленьих шкур. На подоконниках груда утиных носов – игрушки ребятишек. Образа, четки, курильница для ладана. В щели торчит большой, с оческами волос, медный гребень, под ним – отрывной календарь; в нем только числа, а нижние края листов со святцами пошли на «козьи ножки», на сигарки.

Открылась дверь, сверкнула остроглазая улыбка.

– Давай, дэвчонка... Нэ пугайся. Я мирный, – сказал Ибрагим.

– Чего мне тебя, плешастого, пугаться-то? – огрызнулась Таня. – Я с тятенькой на ведмедя хаживала. – Потом улыбочиво сказала: – Вставай, молодец... чего дрыхнешь! А на гулянку к нам придешь?

– Приду. – Прохор сбросил с себя бурку, стал одеваться.

Девушка услужливо подавала ему шаровары, сапоги, полотняную блузу и все дивилась на его белье:

– Богач какой ты, а? Ишь ты, буковки!.. Кто вышивал-то? Поди краля? И чего она, дуреха... на подштанниках вышила, а рубаху не расшила. Поди она богачка?.. Поди один сахар ест да пряники... А часто с ней целуешься?.. – юлила Таня, стрекотала, и Прохор никак не мог от волнения застегнуть пуговку на вороте. А Таня так и надвигалась грудью, виляла дразнящими глазами.

– Цх! Геть, язва! – прищелкнул пальцами Ибрагим. – Дэржи ее!..

Девушка с звонким смехом опять бросилась вон.

Ибрагим взглянул на Прохора. Тот закинул руки, привстал на цыпочки, сладко потянулся и зарычал, как молодой зверь, поднявшийся из логова. Глаза его горели. Ибрагим покачал головой, сказал:

– Нэ надо, Прошка.

Но Прохор ничего не понял. Простокваша была холодная, освежающая. Прохор крепко сдабривал ее сахаром. Таня удивлялась:

– До чего вы, богатые, сладко живете! Взят бы меня к себе, в стряпки хошь.

В глазах Тани была молодая страсть и настойчивая уверенность. «А я тебя поцелую... А ты мой...» – говорили ее жадные глаза.

⁵ Глиняный горшок для молока.

Что-то непонятное, новое шевельнулось в Прохоре. Он сказал:

– Душно как... – и вышел на улицу.

Утро было солнечное. На лугу пылали желтые лютики. Прохор осмотрелся. Деревенька, куда прибыли они вчера с Ибрагимом, маленькая. Избенки ветхие, покосившиеся. Лишь дом Тани выглядел богато: четыре окна на улицу, занавески, герань, гладко струганная крыша, дверь с блоком в мелочную лавчонку, над воротами расписанный в синий цвет скворечник.

Прохор спустился к берегу. Узенькая, тихая река дремала.

«Вот она какая – Угрюм-река, – разочарованно подумал юноша. – И на реку-то не похожа».

Он сбросил с правого плеча бешмет и швырнул через реку камнем. Урча и воя, словно большой шмель, камень пулей пересек пространство и ударился в румяно-желтый под солнцем ствол сосны. Прохор опустил к урезу воды, где мужики конопатили шитик.

– Что ж река-то ваша какая маленькая? Камнем перебросишь.

Отец Тани, черный как грач, оторвался от работы и сказал:

– Силы не набрала... Она еще взывает. Вот уж к Петровкам, когда все болота оттают в тайге. Поди умучился дорогой-то?

Да, он устал вчера изрядно. Тридцать верст, отделяющие Почуйское от этой деревеньки, показались ему сотней. Грязь, крутые перевалы, валежник, тучи комаров.

– Вот погодите, – сказал хвастливо Прохор. – Через десять лет пророю от вашей Угрюм-реки к Большому Потоку канал. Тогда в Почуйское будете на лодках плавать. А то и пароходы заведу.

– Нет, брат паря, – насмешливо возразил второй мужик, – еще у тебя кишка тонка.

– Чего ты понимаешь, медведь! А я знаю.

– Знаешь ты дуду на льду.

– Осел! – заносчиво крикнул Прохор.

Мужик раскрыл рот, чтобы покрепче обложить мальчишку, но, встретившись с его гневными глазами, нагнулся к шитику и с сердцем затюкал кианкой по конопатке.

Тропинкой спускалась к воде Таня. Она закинула обе руки на коромысло, лежавшее у нее на плечах, от этого грудь ее приподнялась и колыхалась под голубой свободной кофтой.

– Пусти... Ишь ты, загородил дорогу-то, – толкнула она крутым бедром зазевавшегося Прохора и усмехнулась белыми, как фарфор, зубами.

У Прохора заалели щеки. А девушка, подобрав юбку, вошла в воду. Было мелко. Она взглянула на Прохора, подняла юбку выше и зачерпнула серебряной воды в ведро. Прохор, не отрываясь, смотрел на ее крепкие ноги и вдруг всю раздел ее глазами. Но тотчас же в смущении отвернулся и пошел к лодке. «Выкупаться надо», – подумал он.

Сел в корму и с силой взмахнул легким, как соломинка, веслом. Течение стало быстрее, мелькали кусты, тонули в водоворотах широкие листья кувшинок с распускавшимися бутонами. А вот и приплесок с мелким сыпучим песком. Прохор причалил, быстро разделся и бухнулся в воду.

Июньская вода все же была прохладна. Дул крепкий ветерок, обрызгивал воду серебряной рябью, гнал облака пищавших комаров в тайгу. Прохор фыркал, отдувался, гоготал, сплавал на ту сторону, нарвал фиалок и царских кудрей, расцветил букет огнями желтых лилий и поплыл обратно.

– Что за черт?! А где же белье?! Лодка была пуста. Очевидно, смахнуло ветром. Он вскочил в лодку и проворно схватился за весло.

– Ау! – вдруг прозвучало из кустов.

– Эй! Отдай! Это ты взяла? Татьяна, ты!

– Иди, миленок, ко мне... Иди!..

Прохор, скорчившись и стыдливо прикрывшись рукой, сидел в лодке. Что ж ему делать?

– Иди... Ну, скорей... Красавчик мой!

Проход еще не знал женщин, но чувство созревающего мужества частенько беспокоило его. И вот теперь...

Сквозь шелестевшую листву голубело платье Тани, словно невидимая рука сыпала сверху незабудки.

– Отдашь или нет?! Я озяб.

В ответ – задорный смех. В Проходе закипело раздражение. Он бросил колючее слово.

– Ушла. Ну тебя! Подурчиться нельзя... – обидчиво крикнула Таня, и кусты зашуршали, как от удалявшейся лодки камыши.

Проход, все так же прикрываясь и вздрагивая от свежего ветра, побежал к одежде. Его стройное тело, еще не обсохшее от воды, белело на солнце, как снег. Ветер мешал надеть рубаху, трепал рукава, озорничал. Проход запутался головой в одежде и вдруг... его ноги кто-то обхватил и жарко припал к ним.

– Нахалка! Ну и нахалка! – весь сжавшись от стыда, с гневом оттолкнул он Таню и, не владея собой, ударил ее.

Девушка вздрогнула, запрокинула голову и умоляюще глядела в его лицо, безмолвная.

Проход тяжело рванулся прочь, бросился на землю и стал, ругаясь, одеваться. Голос его осекся, сделался слабым:

– Ну и девки у вас... А! Первый раз видишь и лезешь.

А та привалилась к нему, вся дрожала.

Возвращались они в лодке по густым розовым волнам. Страшная, влекущая к себе глубь внизу, и кругом пахло разомлевшими под зноем цветами. Глаза Тани были закрыты; она улыбалась, обнажив свои белые ровные зубы.

Прошла неделя. Шитик был налажен. Заготовленные впрок сухари высушены великолепно – звенели, как стекло. Можно было отправляться в путь, но Проход медлил.

– Вода еще не пришла, – говорил он.

– Знаем мы эта вода. Нэ надо, Прошка... Рано дэвам любишь, больно молодой, – журил его Ибрагим, сидя под окном и натачивая об оселок кинжал.

Вот на Кавказе у них другое дело: там солнце, как адов глаз, горячее, там в январе миндаль цветет, и люди созревают быстро. Нет, нехорошо Прошка поступает. Не за тем посылали его мать-отец в неведомую сторону. Кто в ответе будет, ежели с ребенком грех случится? – Он, Ибрагим. Кто клятву дал, что ребенок будет цел? Кто?

– Я не ребенок! – крикнул Проход. – Запомни это. – Он крупным шагом, стараясь громко стучать в пол подкованными сапогами, подошел к стене, сорвал с гвоздя бешмет и вышел на улицу.

Ибрагим, как был, согнувшись над кинжалом, так и остался, только прищелкнул языком и посмотрел вслед Проходу, словно старый орел на соколенка, впервые выпорхнувшего из гнезда.

Вечер был тихий. Солнце упало в тучи, вода в реке стала сизой, задумчивой, и кровь обнаженного обрыва потемнела. Вдали погромыхивало: наверное, к ночи гроза придет.

Чтоб прогнать восвояси докучливых комаров и мошек, молодежь замкнула себя в огненном кольце: кругом пылают-пышут в небо веселые костры, а в середине – лихая песня, пляс.

Шире раздайтесь, братцы! Проход в круг вошел. Громче, дружнее пойте песни, сегодня Проход правит отвальную, а завтра... Эх, что там про завтра толковать: пой, кружись, рой землю каблуками!

Грянула звериным ревом песня:

Я любила Феденьку

За походку реденьку...
Я любила Васеньку
За бумажку красеньку!

Прохор в шелковой похрустывающей рубаше, перехваченной по тонкой талии серебряным кавказским поясом – подарок Ибрагима, – сложив на груди руки, отплясывал возле веселой Тани.

А плясовая разухабисто гремела, крепко похлопывали в такт мозолистые ладони.

Здоровые глотки парней и звонкие девичьи голоса далеко разносят песню во все стороны. Плывет песня над рекой, толкается в берега, в тайгу и, будоража пламенные гривы костров, улетает ввысь к сизой, придвинувшейся вплотную туче.

Я любила Мишеньку
За зелену вышивку.
Я любила Петеньку
За шелкову петельку.

Высоко подпрыгивает Прохор, ударяя каблук о каблук, крутится-крутится, не спуская с милого лица влюбленных глаз. А Таня вся ослабла от какого-то сладкого томленья, тихо улыбается Прохору, лениво взмахивает в воздухе каемчатым платком.

– Целуй! Прохор, целуй! – раздалось от костра.

Прохор притянул к себе Таню, обнял; та жеманно подставила губы, не отталкивая его и не воспаляясь: игра ведь, не взаправду... Но тут, словно бревном по голове, ударил Прохора злой, сиплый, как у пьяницы, голос, скандально заоравший:

Целовала Прохора,
После три дня охала,
Купец в лодочке уплыл,
Таньку навек загубил.

– Ха-ха-ха!! – заржал, всколыхнулся воздух.

– Молчи, Оська! – с хохотом закричали парни. – Он тебя вздует... Он за черкесцем сходит.

У Прохора на голове зашевелилась шляпа. Он шагнул к кострам, где сидели парни.

– Это кто? – Его голос был упруг и мужествен. – Ты?!

Перед ним, задрав вверх ноги и вытянув руки, словно обороняясь от неминуемой трепки, лежал на спине верзила-парень и тонким, шенячьим голосом притворно выкрикивал:

– Я... я это. Ей-богу, я... Таперя зашибет меня купец. Вот те Христос... Братцы! Заступись...

Огонь костров освещал его толстогубый, насмешливо кривившийся рот и прищуренные пьяные глаза. Медные глотки сотряслись смехом.

– Черт! – ругнулся Прохор. – Ты издеваться?! – Он ловкой хваткой сорвал с ноги верзилы заляпанный глиной сапожище и, размахнувшись, запустил им в своего обидчика.

Тот хрюкнул, вскочил и грудью полез на Прохора.

– А, купчишка! Ты так-то?

– Уйди!

– Ты наших девок забижать?! Братцы, катай его!

Тут врезались между ними парни, а девки подняли невероятный визг.

– Прошенька, голубчик! – всхлипывала Таня, увлекая за собою Прохора.

– Мотыка! Ты сдурел?.. – крепко держали верзилу парни и шипели, будто гуси: – Вот подвыпьем ужо... Тогда... Без девок чтобы, без огласки... – И к Прохору: – Приятель, где ты? Прохор Петров! Он же ненароком, он так... Ну, давайте мировую.

В бане огонек, но скудный свет его не проникал на волю: единственное оконце заткнуто старыми хозяйскими штанами.

Парней загнал в баню дождь с грозой. Сидели на полу, плечо в плечо, возле четвертной бутылки, тянули водку из банного ковша. Тесные стены и низкий потолок покрыты сажей, пахло гарью, мылом, потом, и все это сдабривалось какой-то кислой вонью, словно от пареной капусты. Пили молча, торопливо, громко чавкали круто посоленный, с луком, хлеб.

Но молчание прервал верзила. Он налил в ковш вина.

– С предбудущим отвалом тебя, Прохор Петров... – И не успел выплеснуть вино в широкий рот, как грянул невероятной силы громовой удар; все подпрыгнули, хватаясь друг за друга: всем показалось, что баня провалилась в тартар.

– Вот так вдарило! – сказал кто-то.

Беседа не клеилась: не о чем было говорить, всех связала одна мысль, и эта мысль черна, как стены бани. Впрочем, водка брала свое: молчанка сменилась шепотом, а там и загрозили.

Но в эту минуту Прохор плохо слышал. Прохор был в своей мечте, сладостной, влекущей. Все бурливей становится река, шитик мчится быстро, Прохор в веслах, Таня на корме. Солнце, легкий ветер, паруса. А по берегам цветы, цветы. И не цветы, – червонцы, золото. «Таня, золото!» – «Да, Прошенька, золото». – «Таня, мы будем жить с тобой в хрустальном дворце». – «Да, Прошенька, да». А вот и вечер, ночь. Тихо малиновка поет, тихо волна голубая плещет, шепчутся на рябине листья. И течет горячая по жилам кровь, и в одно сливаются влажные губы: «Таня, милая моя». – «Ой, Прошенька!»

– Ой, Прошка! – Это там, в избе.

Сквозь зыбучий мрак непогожей ночи, сквозь вспышки молний, хлюпая по грязи, падая, мчался вдоль деревни Ибрагим. Торопливая дробь дождя и глухие раскаты грома не могли заглушить ни лая собак, ни отчаянных криков и ругани там, у речки, возле бани. Вот хрустнула с крепким треском выломленная из частокола жердь, и загремел высокий знакомый голос.

«Прошка это воюет», – с удовлетворением подумал Ибрагим, ускорив бег. Он наткнулся во тьме на изгородь, на избы, на стоявшие среди дороги сосны, вот утрафил в нужный переулочек и, шурша обсыпавшимися камнями, покатился по откосу вниз.

Он чутко слышал, как свистела в воздухе жердина, как пьяно орали и кричали парни, вот палка щелкнула, словно по горшку, кто-то крикнул: «Ой ты!» – и крепко заругался.

«Прошка».

Тьма озарилась медлительным блеском молнии. Перед Ибрагимом всплыла из мрака живая куча тел. Вниз лицом валялся Прохор, кулаки парней смачно молотили его по чем поало.

Ибрагим остановился, улыбка скользнула по его лицу.

– Ничего... Пускай... Пырвычка будет... – Но вдруг его ноздри с шумом выбросили воздух: – Геть, геть!! – И звонкая сталь у бедра звякнула по-строному: – Кынжал нэ видишь?! Смерти хочешь? Цх! Режь!

Как овцы от кнута, парни молча – прочь, пьяные ноги не знали, куда бежать, и взмокшие спины в страхе чувствовали по рукоять вонзавшийся меж ребер черкесский нож. Парни падали, хрипели, ползли умирать в кусты, сталкиваясь друг с другом лбами. Один бросился в реку, но и там мстящий клинок настиг его: парень завизжал, как поросенок, и забулькал в воде.

А черкес меж тем стоял на месте, добродушно удивляясь трусости гуляк. Потом шагнул к растерявшемуся Прохору, ощупью сгреб его за шиворот, высоко приподнял, как ягненка, и встряхнул:

– Будэшь дэвкам бегать?! Будэшь водку жрать?!

Прохор шипел, плевался.

– Геть! – крикнул Ибрагим и швырнул его на землю. Прохор внезапно протрезвел и вмиг проникся к Ибрагиму уважительным страхом, себя же почувствовал маленьким, несчастным. Он всхлипнул, словно наказанный ребенок, и, виновато съжившись, поплелся домой.

За ним угрюмо, важно шагал черкес. Ему хотелось приласкать Прохора, заглянуть в его глаза, сказать теплое, ободряющее слово.

– Другой раз ребра ломать будэм! Щенка худой! – визгливо крикнул он.

Прохор, пошатываясь, надбавил шаг.

Парни всю ночь до зари буйным табуном ходили по деревне, останавливались возле дома Татьяны, вызывали черкеса на честный кулачный бой.

Поутру Татьяна плакала горько, щеки ее горели от двух звонких пощечин, что влепил отец. Мать, пофыркивая, возилась у печки и растерянно сморкалась в фартук.

А черкес, засучив рукава, усердно скреб кинжалом вымазанные дегтем ворота, смывая с них девичий позор. Татьяна уткнулась лицом в подушку, плечи вздрагивали, катились слезы.

И еще нужно Татьяне плакать много-много. Прохор Петрович! Прощай.

7

Погода стояла мрачная, накрапывал дождь, и на душе у Прохора мрачно.

Деревня Подволочная, где жила Татьяна, далеко осталась позади. Шитик беззвучно скользил вперед, обгоняя дремотные речные струи. Поросшие лесом берега томили своим однообразием, и все кругом, под туманной сетью мелкого дождя, было серо, скучно.

На обгорелой лесине, изгибая шею, надсадисто каркала ворона, точно костью подавилась: «Кх-кар, кх-кар». Две сороки стрекотали у самой реки, на окатном камне, блестящем от дождя.

Угрюм-река наводила на Прохора тоску. Шитик тянуло вперед, а мысли юноши возвращались все к ней, к Татьяне, и никак он не мог направить их в деловое русло.

– Будет, побаловался... надо и за работу, – говорил он сам себе, как искусившийся в жизни человек, деловито вынимал книжечку, зарисовывал повороты реки, всякий раз точно отмечая время.

– Эй, Фарков! А как называется этот ручеек?

Константин Фарков, чернобородый мужик лет пятидесяти, длиннорукий, жилистый, скуластый, сидел в лопашных веслах. Он нанялся поводырем – вроде лоцмана, – он поведет шитик до Ербохомохли, до последнего жилого места на Угрюм-реке.

Фарков утер рукавом серого азяма вспотевший лоб.

– Это не ручеек, а старица, протока. Вот уж она версты через три широко выйдет.

Прохор отметил в книжке. А на полях написал: «Таня, Таня... Я тебя люблю», потом перевернул страницу и стал рисовать по воспоминанию милое лицо; за лицом явилась шея, нагая грудь. Прохор сладко вздохнул, покосился на сидевшего в корме Ибрагима и густо зачеркнул рисунок.

– А вот тут Антипово плёсо зачинается, – раздался крепкий лесной голос Константина. Он стал рассказывать плавно, мерно; он много знает забавных случаев, любопытных историй в этой дикой таежной стороне. – А с Антиповым плесом дело было так. Значит, стояло зимовье – вот уж мимо поплывем – в зимнее время туда ямщики завертывают греться да чайку попить. И жил там старик Антип, а невдалеке от зимовья похоронена тунгуска, раскрасавица девка, шаманством занималась, волховством. Вот она вставала по ночам из своей могилы и пошаливала по тайге, очень всех пугала...

Проخور весь душой и телом тут, на шитике, но вот внезапно очутился там, у Тани, и вновь пережил недавнюю гнетущую разлуку с ней. «Надолго ли? Может, навсегда!»

– А морозище палящий был: плюнешь – слюна камнем падает. А он – превечный ему спокой – в одних портках да рубахе. Так наовсе и замерз.

– Кто это? – очнулся Проخور, губы его дрожали, щекотало в горле.

– Кто это?.. Антип... Нешто не слышал сказ-то мой? Глаза Проخورа все еще далекие, затуманенные, но все-таки он овладел собой:

– Расскажи. Мне интересно.

– Вот я и говорю, – начал Фарков недовольным голосом. – Она, эта самая колдовка-то, шаманка-то, раз середь ночи к Антипу и объявись возьми. Да как крикнет: «Ей, вставай, Антип! Я, мертвая, к тебе пришла, гулять пришла, плясать пришла!..» А сама ударила ладонь в ладонь, подбоченилась – в красном во всем, в бисере, – да как пошла трепака откалывать, только вихорь засвистал по зимовью. Тут наш Антип заорал с перепугу благим матом: «Сгинь, нечистая сила, сгинь!», – да в одном бельишке, босой по морозу-то – дуй, не стой! Дак, веришь ли, пятнадцать верст без передыху отмахал, а тут торнулся, значит, в сугроб носом и застыл... Белый весь лежит, белей снегу белого, и глаза белые, остеклели, как у судака... Вот, брат.

– Удивительная вещь... – Проخور с любопытством поглядел на Фаркова и стал записывать.

– Врешь складно, – крикнул Ибрагим. – По башке веслом тебя! Нэ ври!

В середине шитика сделана крыша из брезента, натянутого на дугообразные упруги. Поэтому, чтоб лучше разглядеть сидевшего в корме Ибрагима, Фарков вытянул шею, бросил весло и сказал:

– Как это – вру?

И Проخور тоже:

– Ничего не врет. – Ему хотелось досадить Ибрагиму за вчерашнее, и в Фаркове он почувствовал своего союзника.

Углы рта Ибрагима с подрубленными черными усами, с окладистой черной бородой, подтянулись к ушам. Ибрагим ядовито ухмыльнулся:

– А ты видал, кто к Антипу приходил?.. Может, баран приходил! И какой слово говорил – ты слышал? Может, мертвый старик тебе толковал?

Проخور было ошетинился, но вдруг захохотал:

– А верно ведь.

Фарков в недоуменье помигал, засопел и лениво взялся за весла.

– Такой слых в народе... Я почем знаю... – растерянно сказал он и уставился в булькающую под веслами воду.

Небо прояснилось. Луч заходящего солнца прорезал облако. Все кругом сделалось приветливо и нежно, словно улыбка девушки, только что переставшей плакать. На душе у Проخورа тоже стало хорошо. Его подзуживало дружелюбно пошутить над провравшимся Фарковым, но тот был мрачен, все так же смотрел в воду и сердито бухал веслами. Весь вечер плыли в молчанье, и когда река под сгустившимся сумраком сделалась обманчива, Фарков скомандовал:

– Вороти к берегу! Круче, круче!

Упругим поворотом шитик стал резать воду, и дно его зашуршало по прибрежному песку.

Разложили костер, сварили чай и двух застреленных в дороге уток. Фарков все еще мрачен, молчалив. «Нет, он не врун, он все-таки оправдается, докажет», – так говорили его чуть раскосые черные глаза.

Стемнело. Река, тайга и небо слились в одно. Но вот взошел месяц, и картина сразу изменилась: на противоположном берегу обозначились темная щетина леса, песчаный откос и торчавшие в реке коряги, возле которых тихо плескалась вода, играя голубоватым серебром под лучами месяца.

– Сорок верст здесь будет, – проговорил Фарков. – Эвот и зимовье Антипово, – и указал рукой за реку. – Видишь, месяц в стекла бьет. И шаманка там схоронена.

Прохора взяла легкая оторопь, но он с молодым задором сказал:

– Айда туда!.. Посмотрим...

– Айда!

И быстро переплыли реку.

Когда подошли к зимовью, у Прохора заколотилось сердце. Фарков отбросил кол, припавший снаружи дверь, и оба они, набожно перекрестившись, шагнули в избу. Кромешная тьма в избе. Должно быть, месяц скрылся в облаках.

– Что это? – прошептал Прохор.

– Где?

Ему показалось: светятся во тьме два горящих угля, как пара волчьих глаз. Вот всколыхнулся воздух, что-то мягко прошумело, угли погасли, но через мгновение вновь загорелись в другом месте. Прохор уцепился за руку мужика.

– Ничего... Это я знаю кто... Это филин, – сказал Фарков спокойно, зажег огарок и направился в угол, где светились глаза. Но там ничего не оказалось, кроме черной закоптевшей иконы.

– Оказия, – протянул он, осматривая все углы, – это она, стало быть...

– Кто?

– Ну, кто, кто... Не понимаешь, что ли?

Прохор не заметил, что голос Фаркова борется со страхом, и весело сказал:

– Интересно!..

Фарков с удивлением посмотрел на него и, пристыдившись, успокоился.

– Вот плешастый-то твой не верит, а, между прочим, после Антипа здесь жил солдат из деревни Оськиной. Поплывем мимо, – можешь справиться. Ему тоже видимость была, вот в это самое оконце колдовка-то к нему лазила. – Фарков поднял над головой огарок. – Видишь?

В верхнем конце под самым потолком – дыра.

– Вот шаманка и летала кажину божью ночь к солдату, а тот выпить не дурак, да в пьяном положении с тунгуской-то и снюхался. Да как и не слюбиться. Уж очень собой-то пригожа была, не девка – сахар. Сильно солдат одобрял ее. Ведь солдат-то думал, что она живая, а на поверку-то вышло – мертвая, самая настоящая покойница.

– А где же она похоронена?

– Вот пойдём, коль не боишься.

Прохор с тревогой осмотрелся. Живая тьма сгущалась, напирала, хотела притушить огарок, как морской маяк волна. Чужие тени мягко шмыгали во тьме, падали, вставали, тянулись к Прохору. Вот словно бы ударили ладонь в ладонь, и с тихим смехом кто-то пустился в пляс – ближе, ближе – кто-то голубой, трепещущий, холодный.

– Пойдем, Фарков! – в страхе метнулся Прохор к двери.

– Ты чего? Это ж месяц.

В окно, как призрак, тянулся свет луны, тени приникли к полу, присмирели, и тьма стала неподвижной, выжидающей.

Шли густыми зарослями. Месяц освещал им путь. Пихтач, сосны и боярка цеплялись за Прохора, предостерегающе шумели, не пускали, с размаху хлестали по лицу.

– Ну, вот смотри, – сказал Фарков, кивнув вверх и закуривая трубку.

На двух вырытых высоких столбах лежала колода. Она сверху прикрыта широкими кусками бересты. Береста голубела и, казалось, вздрагивала, словно лежавший под ней мертвец тяжело вздыхал.

«Это ветром», – одинаково подумали оба, но голубой тихий воздух не колебался. Месяц привстал на цыпочки и никак не мог подняться над тайгой, только ревниво поводил серыми бровями: «Эй вы! Полунощники!» В щель колоды свисал плетью черный жгут.

– Это ее коса... Шаманки-то...

– Черная какая!

Голоса их казались чужими, словно звучали из-под корней тайги. Взглянули друг на друга: лица бледно-зеленые, как у мертвых. Прохор ощутил в груди щемящий холодок.

Вдруг, внезапно вскрикнув, они кинулись прочь. Жуткий страх мчал их через тьму и непролазную трупобу, как белым днем по широкой степи.

Шитик бестолково резал воду, белые весла судорожно взмахивали, хлопали, словно околоченные руки утопающего. А вслед несся из тайги свирепый свист. Но Прохор, опамытовавшись, понял наконец, что это из его собственной груди вылетает со свистом воздух. Он бросил весла и отер со лба холодный пот. Обоим было до смерти стыдно. Избегали смотреть друг другу в глаза и, не перемолвившись словом, оба повалились спать.

Сон Прохора беспокойный, огненный. Красное-красное – кровь. Земля красная, небо красное, красная тунгуска в кумачах, шаманка: «Бойё, друг, обними меня!.. Ну, крепче, крепче!» Истомно, жарко Прохору, сладостно. И слышит он голос: «Вставай, Прошка... Время!»

Прохор проснулся. Ибрагим трясет его за плечо и смотрит строгими глазами ласково.

Утро было погожее, ясное. Шитик шел медленно. Река текла с ленивой негой, словно еще не пробудилась от зеленых грез.

Стали попадаться взгорки. Вдали маячила обнаженная грудь скалы. Голосила ранняя кукушка, влюбленно кричали утки в камышах.

– Ты чего вчера испугался? – тихо спросил Прохор.

– А ты?

– Я, на тебя глядя, побежал.

– А я, паря, на тебя.

Оба улыбнулись и замолкли. Река круто повернула вправо, навстречу солнцу. Вода заблестела, как расплавленный металл. Прохор зажмурился.

– Мне послышалось, будто колодина затрещала. С шаманкой-то... Как хрустнет! – сказал Фарков.

Прохор, щурясь, взглянул на него удивленно:

– А я слышал голос тунгуски: «Бойё, друг, обними меня!..» Ясно так, ясно.

– Врешь?! – И лицо Фаркова вытянулось, глаза стали серьезными. – Точь-в-точь, как тому солдатишке... Точь-в-точь. – Он, крадучись, перекрестился.

– Ты что? Может, лешатика видишь?! Мордам крестишь?! – крикнул Ибрагим.

– Нет, – ответил Фарков. – Сегодня година моей бабушке...

Прохор задумался. Сон и волшебная явь встревожили его. Где-то вдали печаловалась иволга. Прохор вздохнул.

– Нэ надо голову вешать! Надо прамо! – бодро проговорил Ибрагим.

– А вот скоро работа будет... Не заскучаешь, – сказал Фарков. – Чу, как шумит... Это называется Ереминский порог.

Действительно, лишь повернули прочь от солнца, послышался шум, как отдаленный шелест леса. Течение становилось все слабее и слабее, а шум порога возрастал, и, после нескольких изгибней реки, быстрая волна вдруг подхватила шитик.

– Правей!! – кричал Фарков, его голос сливался с шумом. – Нешто не видишь?!

Ибрагим со всех сил навалился на весло и стиснул зубы, а шитик, застряв на камне носом, стал поперек реки и накренился. Фарков соскочил в воду. Вода не доходила до колен. Фарков

взял наметку и, борясь с течением, пошагал от берега к берегу, измеряя глубину. Он что-то прокричал, махнул рукой, опять прокричал, но говор воды дробил и путал звуки.

– Нет ходу, – сказал он, приблизившись. – Скидывай, Ибрагим, штаны... Давай глубь искать.

Пошли оба щупать воду, а Прохор стал зачерчивать в книжку положение порога. Но лишь он отвлекался от работы, как в его воображении вставал печальный образ Тани, а в душе вновь оживало чувство одиночества. Почему Ибрагим таким зверем заорал на него, когда Прохор хотел взять с собою Таню? Осел. Как он смеет!

Но вот, словно одуванчик под порывом вихря, развеялся образ Тани, и, вместо грустного, в слезах, лица, задорная улыбка, бисер, колдовские кумачи: «Бойе, друг!..» Прохор раздражительно отмахивается и долго, с любопытством смотрит в воду: струи быстро мчат под ним, извиваясь меж камней. У него рябит в глазах. Он переводит взгляд на берег, и все, что видит перед собою, все движется, плывет, плывет: кусты боярки и калины, зеленый луг, тихая тайга – все подхвачено обманчивым потоком и – что за черт! – опять тунгуска в красных кумачах извивно крутится в удалом танце, манит Прохора к себе и исчезает в зарослях вновь остановившегося леса. Прохор хмуро улыбнулся: «Чертовка! Ну, погоди, я тебя поймаю, да не мертвую, а живую сграбастаю!» Взбаламученная кровь бьет в мозг, солнце насыщает тело трепетным волнением: хочется любить, хочется перецеловать всех девок.

– Эге-е-ей! Прощка! Сюда...

Прохор проворно сбрасывает с себя одежду, обувается в сапоги, чтобы удобней было идти по каменистому дну, и сходит в воду. Стрежень валит его с ног, он падает на четвереньки, – ух! – подымается, вновь падает, хохочет. Камни круглы, скользки, как голова тюленя, вода бурлит. Прохор неуклюже взмахивает руками и, словно неопытный канатоходец, ловит моменты равновесия. Фарков то и дело выскакивал на берег, ломал ветки ивняка и втыкал их меж камней порога, обозначая будущий путь шитика. Сажень в ста от Прохора лежали две воды: шумно бурлящая, рябая и, дальше, – тихая, застеклелая, вся в солнечном пожаре. Грань этих вод – предел порога. Ибрагим ворочал в воде камни. Прохору показалось издали, что все коренастое тело черкеса, в особенности руки и спина, испещрено темными полосами: «Татуировка», – подумал он, но, когда подошел к черкесу вплотную, удивился:

– Вот так тело у тебя, Ибрагим!.. Как у борца... Должно быть, силенка есть.

– Мало-мало есть. – Ибрагим нагнулся и поднял над головой круглый, в несколько пудов камнище; выпуклые, резко очерченные мускулы под смуглой кожей заиграли, напряглись и, словно вылепленные из глины, вдруг застыли, настороженно карауля волю господина.

– Цх!.. – И камень, опоясав воздух черною дугою, далеко бухнул в воду.

– Урра!.. – закричал от восторга Прохор.

– Чего орешь, работай!..

Прохор принялся за дело. С юношеским жаром ворочал камни, прокладывая путь.

– Корягу видишь? Вали на нее... Прямо! Сажень через десять будет глыбь.

Работа кипела. Фарков был уже на шитике и выводил его на стрежень. Обрато Прохор шагал рядом с Ибрагимом.

– Заколел, Прощка, замерз? Надо спирт проглотить... Уловив в голосе Ибрагима ласку, Прохор сказал:

– Ты на меня не злись. Я тебя люблю.

– Мы тоже любим. Ничего, молодца, Прощка. Джигит!..

– С тобой, Ибрагим, не страшно... Ты сильный.

– Кынжал сильный... Ибрагишка верный, верней собаки...

Сели усталые, продрогшие. Шитик летел по порогу уверенно, сшибая носом расставленные вехи...

– Слава тебе, Господи! – облегченно сказал Фарков. – Одно дерьмо прошли.

– А дальше?

– Горя хватим много. Ух, много, братцы! Угрюм-река, она свирепая.

8

Петр Данилыч Громов развернулся вовсю. Катил сквозь жизнь на тройке вскачь. Тройка – на лешевых подковах, и куда мчалась она – Петра Данилыча не интересовало. По кочкам, по сугробам, в пропасть – все равно, лишь бы свистал в ушах веселый ветер, лишь бы хохотало и звенело в голове.

Впрочем, занимался Петр Данилыч и делами по хозяйству. Расширил торговлю, красного товару привез на десяти возах и посадил в лавку доверенным приказчика Илью Сохатых. Открыл в тайге смолокурный завод и еще бросился в кой-какие предприятия. Но за всем этим досматривал он плохо, дело култыхалось через пень-колоду.

Марья Кирилловна завела большое молочное хозяйство и так захлопоталась, что некогда было и замечать ей шашни своего мужа.

Тот политику свою сначала вел довольно тонко: уедет на охоту, а сам – к Анфисе, соберется за артелью дровосеков досмотреть, а сам – к Анфисе. Птицы, звери благодаренье небу шлют, дровосеки лодыря гоняют, доверенный Илья Сохатых шелковые полушалки, серебряные денежки нечаянно в карман сует. А хозяин из бутылки буль-буль-буль да – к своей Анфисе.

Илья Сохатых – рыжий, кудреватый, лицо в густых веснушках, отчего малый издали кажется румяным; на самом же деле он тощ и хвор, но до женского пола падок. По селу он – первый фронт: всегда в воротничках, в манжетах, в ярких галстуках, набалдашник тросточки тоже не из скромных, портсигар снаружи совсем приличный, а откроешь крышку – там черт знает что: даже отец Ипат, увидавши, сплюнул. Имел еще Илья Сохатых дюжины две зазорных карточек – парни на вечерах хватались за животики, а девушки поднимали благопристойный визг: «Ах, охальник! Тьфу ты!..» – но глаза их горели шаловливо и льнули украдкой к запрещенному плоду.

Илья Сохатых любил крепко надушиться дешевыми духами, от него за три версты несло укропом и чесноком. Перстни, запонки, булавки играли фальшивым стеклянным цветом, часы и цепь накладного золота сияли. Вся эта «цивилизация» – он любил ушибить головы парней и девушек мудреным словом – была им усвоена в уездном городе, откуда добыл его Петр Данилыч Громов, прельстив порядочным окладом и вольготной жизнью.

Девки только им и бредили, а самые пригожие были на ножах друг с другом: каждой он клялся и божился, что любит лишь ее одну. Иным разом так далеко заходила девья пря, что соперницы, зарвавшись, при всем народе провирались про свои любовные улады: со мной там-то, а со мной вот там-то, а потом, придя в рассудок, горько плакали, кололи болтливые языки булавками, да уж не воротишь.

Мужние жены – молодницы – также не уступали девкам и считали превеликой честью провести с ним ворованную ночь где-нибудь у гремучего ручья под духмяным⁶ кустом расцветающей боярки.

Илья Сохатых принимал все ласки, как нечто должное, и хотя отошал, словно мартовский гуляка-кот, но амурные успехи он относил исключительно к своей неотразимой, по его мнению, наружности. И в конце концов так возгордился, что дерзнул облагодетельствовать своей пленительной любовью и Анфису.

Он приступил к этому с сердечным трепетом и нервной дрожью, как боевой, выдавший виды конь. Анфиса казалась ему неприступной. Да и хозяин... О, хозяин сразу оторвет ему

⁶ То есть душистым.

башку! Но Илья Сохатых весь проникся мужеством. Завладеть Анфисиним сердцем во что бы то ни стало – вот цель его жизни. Итак, смело в бой, к победе!

Подкрутив колечком усики, взбив кок в кудрях, Илья Сохатых направился сумеречным вечером ко двору красотки.

– Никто не видал? – спросила та, открывая дверь. – Ты стучи в калитку – раз-раз! – тогда буду знать, что ты... Понял? А хозяин где? Уехал?

Домишко у Анфисы маленький, плохой, но рядом рубился, иждивением Петра Данилыча, новый дом – скоро новоселье.

Анфиса накрывала стол, ставила самовар. Илья вытащил из кармана бутылку рябиновой и сверток саратовской сарпинки:

– Дозвольте прикинуть. Кажись, к лицу...

Анфиса стояла высокая, поджав алые губы; глаза ее полны холодной насмешки. Илья петушком плясал возле нее и все норовил, примеряя отрез сарпинки, крепче прижаться к соблазнительной Анфисиной груди.

– Кажись, к лицу-с...

Та щелкнула его по блудливой руке, отстранила подарок:

– Не надо. Не нуждаюсь.

– Ах, Анфиса Петровна!.. Это даже огорчительно... Вас, наверное, по всем швам хозяин задал.

– А тебе какое дело? Да и тебя мне не надо. Ну на что ты мне?... А, Илюша?

– Ну как это можно. Женщина, можно сказать, во цвете лет... В поэтичном одиночестве. И все такое...

За чаем Илья врал, рассказывал анекдоты про монахов, Анфиса хохотала, отмахивалась, затыкала уши.

– Дурак ты какой!.. И за что тебя девки любят? А, Илюша? Рябой, курносый, чахоточный, чисто овечья смерть.

– А вот вы когда меня полюбите? – спросил он, нервно кусая губы.

– Никогда.

– Неправда ваша... Могу сейчас доказать-с...

Он подкрутил усы колечком, утер потное лицо надушенным шелковым платком, и глаза его из масляных стали умоляющими.

– Анфиса Петровна, ангел! Ну, один только поцелуйчик... в щечку, Анфиса Петровна? Но та хохотала по-холодному.

– Это мучительство. Как вы не понимаете? Я усиленно страдаю...

– Дурак ты, вот и страдаешь. – Лицо Анфисы вдруг стало ледяным, она словно студеной водой плеснула на распалившееся мужское сердце, и Илья, окутанный внезапным паром страсти, бросился к Анфисе и жадно схватил ее за талию.

– Голубочка! Пшеничка!.. Пощадите мой нервоз...

Вдруг в завешенное окошко кто-то постучал.

– Сам! – в один голос прошептали оба. Со страху у приказчика даже веснушки побелели.

Он заметался.

– Полежай в подполье, да проворней. Убьет... Ну!..

Она прихлопнула за ним тяжелую западню в полу и поперхнулась шаловливым смехом. Стучали в калитку. Анфиса отперла.

В белой фуражке, высоких сапогах, поддевке вошел Петр Данилыч. Он оправил густые усы.

– Страсть сладка, чертовка... А что это накурено? Гости были? А?

– Я сама.

– Сама? Давно ли куришь? На-ка, покури...

Она курнула и закашлялась.

– Крепкая очень.

– Крепкая? – Петр Данилыч засмеялся, снял фуражку. – А я сам-то нешто не крепкий? Эвота какой!.. Грудь-то, кулаки-то...

– Богатырь, – улыбнулась Анфиса. Густые, льняного цвета волосы ее закручены сзади тугим узлом, малиновые губы полуоткрыты.

Он поймал ее белые руки, притянул к себе. Она села к нему на колени. Под полом послышалась беспокойная возня. Петр Данилыч насторожился.

– Это кот, – сказала Анфиса, засмеялась, словно серебро рассыпала.

Илья Сохатых замер. Будь проклято это низенькое подполье! Он сидел скорчившись на какой-то деревянной штучке между двух огромных кадок и вдруг почувствовал, что его новые брюки из серого трико в полоску начали сзади промокать. Он вскочил и резко ударился – черт его возьми! – теменем в потолок. «Слава богу, кажется, не слышали, сошло». Тогда он овидетельствовал дрожащей рукой то, на чем сидел.

– Извольте радоваться... Грибы соленые, рыжики!.. – Он возмущенно засопел и сплюнул.

Он теперь стоял, согнувшись в три погибели, упираясь на помаженным затылком в покрытый плесенью половой настил, и раздумывал, как бы ему поудобнее примоститься. Его ухо ловило глухой, сочившийся в щель говор.

– Знаешь, кто у меня в подполье-то? Любовник... – сказала Анфиса и фальшиво рассмеялась.

– Любовник?! – сердито переспросил хозяин, и половицы заскрипели.

У Ильи Сохатых обессилели ноги, и он снова сел в грибы.

– Стой, куда! – крикнула Анфиса. – А ты и поверил? Эх, ты!

Илья Сохатых облегченно вздохнул, осенил себя крестом.

Петр Данилыч что-то невнятно пробурчал. Потом замолчали надолго. Золотая щель в полу померкла – видно, загасили свет.

«От ревности меня может паралич разбить, – злобно подумал Илья; сердце колотилось в нем до боли. – Тоже называется купец... От собственного приказчика красотку отбивает... Эксплуататор, черт!..» Он пощупал карманы. «Эх, спички остались там!» А надо бы переместить место, но он боялся пошевелиться и терпеливо ждал. Накатывалась густая сизая дрема. Он заснул, клюнул носом и очнулся. Тихо. Страшно захотелось есть. Он ощупал кадку: капуста. Он ощупал другую: «очень просто, огурцы!..» – Вытащил ядерный огурец и с аппетитом съел.

– Свежепросольный, – тихонько сказал он вслух.

Повыше подобрал манжет и вновь запустил руку в кадушку. Огурец попался великолепный. Съел.

– Эй ты, мученик! Да ты, никак, уснул?

– Ничего подобного! – перекосив рот и щурясь от света, крикнул Илья Сохатых и быстро покинул свою тюрьму.

– Да ты не ори, молодчик! – Голос Анфисы серьезен, но грудь тряслась от сдерживаемого смеха. – Будешь фордыбачить – вышвырну.

С чувством большой досады и ревнивой горечи Илья проговорил:

– Вы мне большой убыток причинили. Новый жакетный костюм... На что он теперь похож? А?

Анфиса молчала.

– И вот, на основании вашего легкого поведения, я битых три часа в соленых грибах сидел, в кадушке.

Анфиса ударила себя по бедрам, раскатилась хохотом. На глазах Ильи мгновенно выступили слезы, он бросился к ней с сжатыми кулаками, но она сгребла его в охапку и, все еще продолжая хохотать, звонко поцеловала в потный лоб.

Илья забыл про все на свете.

– Анфисочка!.. Цветочек!..

– Стой, стой, стой! – Она усадила его к столу. – Давай кутить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.